

Борис  
Носик

ПОРЫВ ВЕТРА,  
или  
ЗВЕЗДА  
НАД АНТИБОЙ

Документальная

повесть

о жизни

и смерти

художника

Никола де Сталя,

рожденного

в Петербурге

в тот роковой год,

когда город

потерял

свое имя



Борис Носик

**Порыв ветра, или  
Звезда над Антибой**

«Автор»

2010

## **Носик Б. М.**

Порыв ветра, или Звезда над Антибой / Б. М. Носик — «Автор», 2010

Это повесть о недолгой жизни, творчестве и трагической смерти всемирно известного русского художника Никола де Сталя. Он родился в семье коменданта Петропавловской крепости в самом конце мирной эпохи и недолго гулял с няней в садике близ комендантского дома. Грянули война, революция, большевистский переворот. Семья пряталась в подполье, бежала в Польшу... Пяти лет от роду Никола стал круглым сиротой, жил у приемных родителей в Брюсселе, учился на художника, странствовал по Испании и Марокко. Он вырос высоким и красивым, но душевная рана страшного бегства вряд ли была излечима. По-настоящему писать он стал лишь в последние десять лет жизни, но оставил после себя около тысячи работ. В последние месяцы жизни он работал у моря, в Антибе, страдал от нелепой любви и в сорок с небольшим свел счеты с жизнью, бросившись с крыши на древние камни антибской мостовой. Одна из последних его картин была недавно продана на лондонском аукционе за восемь миллионов фунтов...

© Носик Б. М., 2010

© Автор, 2010

## Содержание

Глава 1. Печальная улица Ревели	5
Глава 2. В гостях на Святодуховской	8
Глава 3. Отсель грозить мы будем шведу	11
Глава 4. К корням могучего древа	17
Конец ознакомительного фрагмента.	26

**Борис Носик**  
**Порыв ветра или Звезда над Антибой**  
**Документальная повесть о жизни и**  
**смерти художника Никола де Сталя,**  
**рожденного в Петербурге в тот роковой**  
**год, когда город потерял свое имя**

**Глава 1. Печальная улица Ревели**

В последние лет десять, проводя позднюю осень, зиму, да и первые весенние месяцы (короче, весь былой «великокняжеский сезон») на Французской Ривьере, я частенько гуляю по милому городку Антибу, где жила некогда множество художников, писателей и прочих знаменитостей. В те времена русские называли городок не Антибом и даже не Антибами, а нежным женским именем Антиба – как в стихе у князя Вяземского:

Вот свой маяк зажгла красивая Антиба —  
В пустыне столб огня кочующим пловцам.

Ну да, прав был умница-князь, друг «невъездного» и не многим здесь известного Пушкина, мы и есть те самые пловцы и странники, дотянувшие до неблизкого берега: спасибо тебе, маяк, спасибо, красивая Антиба. Дотянули, хотя иные из сверстников уже там, на таинственном, пугающем нас берегу, с которого возврата нет...

Нередко попадая в излюбленную эту Антибу, один или в компании своего французского друга, психоаналитика Пьера, гуляючи прохожу я через шелестящую листвою главную площадь, минуя дом на Пастера, где много лет жил не поладивший с местным жульем англичанин Грэм Грин, прохожу мимо кабака, где проводил вечера грек Казанцакис, мимо цитадели, где неистовствовал перед своими полотнами испанец Пикассо, и вдруг – почти непредвиденно, хотя всякий раз здесь – словно толчок в грудь и укол грусти: ну да, опять она, эта улица Ревели. Вот здесь... Здесь он бросился вниз на камни, в темную пропасть улицы, этот уроженец Петербурга, двухметровый русский красавец-художник, обретший заокеанскую, а стало быть, уже и мировую славу в свои сорок лет, многодетный отец, владелец небольшого, но старинного замка... Отчего бросился? Просто чтоб больше не жить? Чтоб прекратить какую-то муку?..

Мой спутник Пьер привычно замедляет шаги. Он знает, что я снова заговорю об этом русском бедолаге-художнике и задам ему, верному спутнику и собеседнику Пьеру, все тот же бессмысленный, но неизбежный вопрос, который мучит нас, временно живых, – почему такое бывает?

Как честный человек Пьер сообщает снова лишь то небольшое, что помнит или знает наверняка.

– Это случилось 16 марта 1955 года – говорит он, – с тех пор, друг мой, прошло больше полвека. За эти полвека в Штатах, к примеру, процент самоубийств среди молодых людей вырос втрое.

– Ты где был тогда, Пьер, в марте 55-го?

– Я был тогда лицеист. Жил в Париже. А ты?



– Я? Я был солдат советской армии. Рядовой. И поверишь? Я хорошо помню ту ночь.

Пьер снисходительно улыбается. Он считает все, или почти все мои истории придуманными, фантастическими... Он неправ. Все мои истории документальные. Просто жизнь фантастичнее любой беллетристики. Взять жизнь того же Никола де Сталя. Бедный Коля-Николай, сиди дома не гуляй. А он с трех лет был нелегал в родном городе, генеральский сын из Петропавловской крепости, потом беглец, потом сирота...

– Да нет же, правда, Пьер, я отлично помню ту ночь... Мы с другом Саней Свечинским возвращались в часть из самоволки. Ходили отмечать мой день рождения. Двадцать четвертый...

– Где это было?

– В Араратской долине, в Армении. На окраине городка Эчмиадзина. На Четвертой улице.

– Что ты там делал на Четвертой улице?

– Я ж говорю, отбывал срочную службу. В в/ч 48874. Сперва в саперном взводе, потом в комендантском. А до того жил в родной Москве. Закончил МГУ, доучивался на английском в инязе. Тут-то они меня и заметили, неподкупные военкоматские военачальники. Сказали, много будешь знать, скоро состаришься. Забрили в солдаты. Двадцать пять месяцев коту под хвост.

– Зато школа жизни...

– Да уж... Между прочим, научился чуток по-армянски. Чтoб сторожей на винограднике уламывать. Бахак. Хавах. Инч аржи гине?

– Куда же вы с другом ходили праздновать? В кабак?

– Скажешь... К сторожу винзавода домой ходили. Он завод по ночам караулил, а сторожиха нам вино продавала краденое. Нормально. Там, на Четвертой улице, бедные такие дома были, с земляным полом, простые люди жили. Хорошие люди, добрые люди: армяне, курды. Разбудит ночью солдат, в окно постучит, купит вина, лишний рупь семье пригодится. А бывало, мимо идешь днем, горячий лаваш сунут в руки. Ешь, банак. У них, у многих, свои дети в армии служили. Моему другу из Вязников письмо пришло от родителей. А на конверте адрес написан: Эчмиадзин, Армейская ССР... Вместо Армянская. А вообще-то, они все эсесеры были тогда армейские...

– Ну и что же случилось в ту ночь?

– Да, так вот, возвращаемся мы из самоволки, веселые, поддатые, идем балагурим. Небо черное, звезд полно... И вдруг – чирк, по черному небу, вниз к горизонту – звезда упала. Мой друг Саня Свечинский, писарь из стройчасти, говорит: «Гляди, кто-то помер. А мы с тобой бухие. Как бы и нас какой-нибудь дурной салага с КП не подстрелил». Я говорю: «Ты что, Сань, чего мы там у КП не видели? Места надо знать в родной части». Нашли знакомую дыру в ограде, пролезли и разошлись спать по своим баракам... Теперь, когда вспоминаю ту ночь, всегда думаю про Антиб. 16 марта... Звезда в черном небе...

– Тогда, небось, про Антиб не думал?

– Тогда я про Москву думал. Дембеля ждал. Домой не чаял вернуться. А про Антиб я и слухом не слыхал. Хотя про Париж уже пели тогда по московскому радио. Ив Монтан пел. Как член братской компартии. А что я когда-нибудь доберусь в Париж, об этом и мечтать было нельзя... У нас же были коммунисты. Ты что, забыл?

– Нет, нет, помню, – говорит Пьер скромно, – У нас, впрочем, тоже.

Еще бы ему не помнить. В шестидесятые Пьер возглавлял коммунистический союз студентов в Париже. Потом он чуток отклонился от линии, и его вычистили из партии. У них с этим строго: шаг вправо, шаг влево считается за побег. Это нынче фюрер Зюганов профессором прикидывается... Мой друг Пьер стал психоаналитиком, принимал психов у себя на кушетке, зарабатывал деньги, завел кучу детей со своей красавицей Доминик. Я его про

«отклонения от линии» не спрашивал, меня и линия их не интересовала. Все то же. Еврокоммунисты за евро, американские за доллары... А вот что тогда случилось с нашим Колей-художником, это меня тревожило.

– Отчего он все же прыгнул сюда, во тьму, этот славный гигант? – спросил я у Пьера, – Ты-то должен про это знать.

– Знать – нет... Кое-какие простейшие догадки, конечно, существуют. Случай, похоже, классический. Расстройство, психоз... Для меня тут более или менее ясно. Конечно, историки искусств, художники объясняют все более художественно. Хотя противоречий с предполагаемым диагнозом в биографиях и семейных мемуарах не вижу...

– Художники... – сказал я с завистью, – Они хорошо толкуют. К тому же им видней, художникам. Тут, кстати, одна русская художница живет в Антибе, моя знакомая. Тут, в старом городе. На рю Сент-Эспри. Слушай, а давай зайдем к ней на полчаса, поболтать. Может, она дома.

– Ну, если это удобно...

– Нет, я сперва позвоню. Почти как европеец. Не вперед, конечно, за месяц, но все же позвоню. Уверен, рада будет отложить работу. Я лично всегда бываю рад отвлечься... Может, еще и чайку у нее попьем. Посидим в русском доме. Потрендим...

Так все и вышло. Я позвонил Ирине, и мы с Пьером отправились на улицу Святого Духа.

## Глава 2. В гостях на Святодуховской

С художницей Ириной мы познакомились лет тридцать тому назад в писательском Коктебеле. Разговорились однажды за ужином в доме творчества, и она пригласила меня пойти вечером на какую-то дачу – слушать стихи. Объяснила, что хозяйка этой дачи знаменита своими интеллигентскими сборищами. Теперь бы я даже сказал – тусовками. Впрочем, я и тогда уже редко выбирался на люди.

В коктельском Доме творчества писателей и в примыкавших к его царственной ограде частных хибарках проживало в летнюю пору множество граждан, желавших почитать кому-нибудь свои стихи. В ожидании своей очереди людям этим приходилось терпеливо слушать чужие стихи и вежливо аплодировать. На том сборище, куда я попал, выступали в основном молодые малоизвестные поэты, но хозяйке удалось заманить и какую ни то знаменитость. В тот вечер угощали прославленным Евтушенко. Он рассказывал о своих зарубежных поездках, о том, что молодежь всей планеты неудержимо стремится к коммунизму. Конечно, никто ему в тогдашней коктельской аудитории не поверил. Иные бурчали (даже и не слишком тихо), что знаменитый поэт просто отрабатывает Кому Положено очередную заграничную поездку. Верь не верь, четверть века спустя, когда открылась граница и исчезла цензура, прояснилось, что и сам поэт и его завистники были недалеко от правды. Ну да, они там всю русским баракам завидовали, западные интеллигенты, он нам не соврал, поэт. А что он честно поездку отрабатывал, как еще было съездить? Всем писателям хотелось – хоть в Хельсинки, хоть в Лос-Анджелес. А уж робким-то лохам, вроде меня, оставались Таджикистан, Ворух, Камчатка, Ольхон... Вспомнишь – и сам себе позавидуешь. Вот бы сейчас в Ворух. В абрикосовый сад. Или на Памир. И на хрена мне ихний тоскливый Лос-Анджелес без гор...

В тот вечер, непривычный к массовым разговорам, я просто разглядывал богемное сборище, а художница Ирина, не теряя времени, делала эскизы, рисовала разных типов из стихолюбивой публики. Мой эскиз она мне тут же и подарила, может, именно поэтому я не оказался позднее на ее знаменитой картине «Коктебель. Слушают стихи». А может, я просто не был похож на человека, который кого-нибудь слушает, и зоркий глаз художницы это сразу отметил. Так или иначе, этот набросок у меня сохранился, и я охотно давал его переснимать разным издателям, печатавшим мои книжки, или журналистам, бравшим у меня интервью (такое еще и в 90-ые годы иногда случалось, но уже и тогда старые мои портреты мне льстили безмерно, а новые – приводили в ужас).

Позднее, благополучно дожив во Франции до начала третьего тысячелетия, я что-то стал зябнуть по осени в деревенском домике в Меловой Шампани, и тогда добрые французские друзья предложили мне ключ от десятилетиями пустовавшей квартиры в Северной Ницце, где я и водворился на зиму со всеми своими бумагами и норовистым компьютером. Вот тогда-то мне вдруг и позвонила Ирина, о которой я ничего не слышал в последние тридцать лет, с того памятного коктельского лета. Оказалось, что она больше не живет в Киеве, а живет на Лазурном Берегу, тут же неподалеку от Ниццы. Что она сколько-то времени рисовала что-то в одиночестве на морском берегу, а потом вышла замуж за здешнего моряка и поселилась в Антибе. Моряк тоже больше не скитался по морям по волнам, поскольку человеку, понимающему толк в водоплавающих посудидах, всегда найдется работа в антибском порту Вобан с его яхтами миллиардеров. Так что моряк осуществил заветную мечту – построить себе дом на берегу и в этом доме иметь жену. Может, у него была вдобавок честолюбивая мечта иметь русскую жену-художницу из столицы легендарной Украины, которая не только подарила Франции одну королеву и одного премьер-министра, но и до сих пор пугает здешних хлеборобов своими потаенными урожайными возможностями. Об этом я, впрочем, мало что знаю, кроме того, что браки даже в безбожной Франции совершаются на небесах, а вот насчет Ириной антиб-



ской жилплощади я все же полюбопытствовал. Ирина с мужем-моряком купили и обустроили узенький старинный дом на самой, наверно, старой улице Антиба – на улице Святого Духа. Помню, как в молодости, разглядывая такие вот средневековые узкие дома на главной площади Львова или на Староместской улице в Праге, мечтал я посидеть, попить чайку за старинным столом со скатертью в таком вот доме. Причем не из наугад вытащенных из груды немойтой посуды китайских кружек пить, как у меня на хуторе в Шампани, а из нормальных фарфоровых чашечек. Нормально заваренный чай. В гостях у интеллигентной дамы – художницы. Под портретом ее мужа, антибского моряка...

Я заметил, что и другу моему психоаналитику Пьеру чаепитие наше пришлось по душе. Он даже вякнул что-то любезно-одобрительное, что я немедленно перевел для себя на русский (как перевожу все, что говорят не по-нашему, чтоб сбить завесу неполной ясности) – перевел как «Хорошо сидим».

Говорили мы за столом обо всем понемногу, но конечно, и о падшей звезде Антиба, о художнике Никола де Стале побеседовали. Ирина вполне убедительно высказывалась о его колорите, и пространстве, и свете, о том, что он дошел в живописи до пределов возможного, что он рвался за этот предел, хотел раскрыть в красках тайну Творения...

Беседа за чайным столом текла мирно, чай и печенье были безупречными, но для меня все кончилось не слишком безмятежно. Впрочем, может, и не так все плохо кончилось, потому что, сказать точнее, еще не кончилось и, как вы можете отметить, не кончается: сижу, пишу...

Помню, что разговор с неизбежностью вернулся к тому, что случилось в ту мартовскую ночь в Антибе полвека тому назад, о причинах беды. Пьер сказал, что, строго говоря, судить о причинах того, что случилось в ту ночь, ему все же трудно, потому что он мало знает о жизни художника, о тогдашних обстоятельствах его жизни, а главное – о его прошлом, в частности, о его детстве. Как можно вообще говорить о человеке, не зная толком о его детстве?..

Ирина сказала, что и после счастливого детства (у нее самой отец был милейший человек, киевский поэт) столько жизнь преподносит нам неожиданных трудностей и поворотов – пойдя сохрани жизнелюбие. На это я возразил, что внешние обстоятельства бывают ужасны и все же... Я напомнил, сколько хитростей придумывал Лев Толстой, чтоб не покончить с собой, и притом обстоятельства его были в ту пору самые благополучные.

– Что-то я не припомню, где это описано, – заинтересовался мой любознательный французский друг Пьер, – Я все эти его длиннющие романы прочел...

– Это не в романах. Это в «Исповеди». У тебя случайно нет «Исповеди»? – спросил я у Ирины.

– Должна быть, – сказала она и пошла рыться в книгах.

– Чему ты улыбаешься? – спросил меня Пьер.

– Похоже на эмигрантское застолье где-нибудь в Грасе у Бунина... Уж у него непременно толковали о Толстом. То с Алдановым, то с Фондаминским...

– Кстати, на что он жил в Грасе, ваш Бунин? – полюбопытствовал Пьер.

– На что может жить писатель? – сказал я обиженно. – Особенно эмигрантский. На пожертвования, конечно.

– Любопытно, – сказал Пьер. – И кто жертвовал?

– Вот эти поклонники Толстого и жертвовали. Фондаминский, Розенталь, Алданов...

– Понятно. Одни русские.

– Одни русские евреи. Осоргин писал о своем русском одиночестве в среде меценатов. Он был неправ. Они были тоже русские, но русские евреи...

– Любопытно, – сказал Пьер. – А почему?

Я знал, что любопытство моего друга неиссякаемо, и уже собрался объяснять про самоотверженное пристрастие евреев к русскому слову, но тут появилась Ирина, стерла салфеткой пыль с тринадцатого тома сочинений графа Л.Н. Толстого, и мы вернулись к теме самоубий-

ства. Издание у нее было великолепное, московское, 1911 года (как раз в тот год, кстати, и поженились родители Никола де Сталя), «Товарищества И.Н. Кушнерева и Ко». Я долго гладил обложку тома и думал о том, как славно издавали тогда книги у нас (точнее, до нас) в России. Про «Исповедь» я вспомнил не случайно. Она была когда-то любимым моим чтением, я даже былую валдайскую усадьбу Берсов «Утешенье» разыскал в те годы близ Боровенки, Вошугова и озера Лънено, узнав, что они связаны с «Исповедью». Теперь все это вспомнилось мне на средиземноморском берегу, и я раскрыл книгу на том месте, где Толстой рассказывает, как жизнь стала для него невозможной и как он «прятал от себя шнурок, чтобы не повеситься на перекладине между шкапами в своей комнате». А дальше как раз и пишет он про отсутствие каких бы то ни было тяжких жизненных обстоятельств, понуждавших его к самоубийству. Я протянул открытую книгу Ирине и сказал:

– Вот, читай вслух про обстоятельства, а я другу своему буду чуток помогать с переводом.

Ирина стала читать своим красивым и вполне убедительным голосом. Думаю, Лев Николаевич был бы ее чтением вполне доволен:

«И это сделалось со мной в то время, когда со всех сторон было у меня то, что считается совершенным счастьем; это было тогда, когда мне не было пятидесяти лет. У меня была добрая, любящая и любимая жена, хорошие дети и большое имение, которое без труда с моей стороны росло и увеличивалось. Я был уважаем близкими и знакомыми, больше чем когда-нибудь прежде, был восхваляем чужими и мог считать, что имя мое славно, без особенного самообольщения. При этом я не только не был помешан или духовно нездоров, – напротив, пользовался силой и духовной, и телесной, какую я редко встречал в моих сверстниках... И в таком положении я пришел к тому, что не мог жить и, боясь смерти, должен был употреблять хитрости против себя, чтобы не лишиться себя жизни...»

– Да, интересно, – сказал мой друг Пьер, – Граф считает, что он душевно здоров, но жить не хочет. Суицидальные попытки не в счет. Что ж, непременно поищу этот текст в переводе... Но ты-то, мой друг, уже кучу книг прочел о бедном де Стале. И какие там откровения?

Я сказал, что о жизни и смерти Никола де Сталя я прочитал уже много книг, но это все, конечно, французские книги. Стало быть, книги деликатные и стыдливые. Здесь вам не развязная Америка. И даже не нынешняя Россия. Ничего недозволенного. К тому же есть семья, есть наследники, трудный случай... Набравшись наглости, я сказал, что мне вообще не слишком нравятся экзотические описания России у современных французских авторов, где присутствует неизбежная черная икра, неизбежные «бабушки» вместо женщин, а главное – тошнотворная патетика при описании таких «экзотических» персонажей, как Ленин и Троцкий, а также неумеренные восторги по поводу таких мерзостей, как перевороты и путчи, в общем, различим привкус бывшего «Краткого курса ВКПб» в его луиарагоновском варианте, кстати, изготовленном в том же учреждении, где и тот, который мы в юности зубрили наизусть...

– Все понятно, – сказал Пьер не без обиды, – Значит, ты напишешь свою, русскую книжку и мы вернемся к нашему разговору...

Вид у меня стал, вероятно, не то чтоб испуганный, но, как нетрудно понять, вполне растерянный. Так далеко в своих застольных планах я не заходил...

– Итак, за работу, друзья, – бодро сказала хозяйка дома, и я заметил в ее взгляде и голосе некое беспокойство... Чаепитие затянулось, а работа...

Работа не волк, в лес не уйдет, но она всегда с тобой, как фиеста, Париж или выпивка в предсмертном романе знаменитого Гемингвея (тоже ведь добром не кончил).

Мы стали прощаться с хозяйкой и благодарить за чай, за прием, за разговор... Конечно, Пьер благодарил куда элегантней, чем я. Французский язык к этому лучше приспособлен. Тут он особенно резво опережает подлинность чувства.

Но конце концов я и правда сел за книжку о Никола де Стале.

### Глава 3. Отсель грозить мы будем шведу

Нет, я не забыл, что начинать надо с детства. Впрочем, все оказалось не так просто, хотя до былых купели и колыбели знаменитого русско-бельгийско-французского художника мне было в ту пору рукой подать: я часто летал в ту пору в Петербург, а там останавливался у друзей, в двух шагах от знаменитой Петропавловской крепости, в питерской коммуналке, в одной из ее двенадцати комнат... Что такое питерская коммуналка XX века, поймет только тот, кто ее когда-нибудь видел. Однако без проживания в ней, хотя бы временного, ни один самый крупный заграничный или отечественный специалист по истории России не может рассчитывать на доверие к своей кандидатской степени. Во всяком случае, на мое доверие.

Вы спросите, на черта я мотался в Петербург из гостеприимной Ниццы и привычного (похожего на Валдай) уголка Шампани? Объясню. У меня в ту пору был в Петербурге издатель. Точнее, даже два издателя. История их появления и возвышения с наглядностью показывает, в какой степени даже самая скромная перестройка может оказаться плодотворнее для человеческого развития, чем самая впечатляющая империя зла. Я имею в виду лишь скромную сферу русского книгоиздательства, в одночасье потерявшего в конце минувшего века навязчивое внимание Старой Площади и Малой Лубянки и наводнившего мою родину неподцензурными изданиями книг. Всяких книг, и хороших и разных. Нормально, что разных: в России всегда находились читатели, умевшие сделать выбор. А вот откуда пришли издатели? Взять тех же двух моих питерских.

Один из двоих добрался в Ленинград с Украины, еще молодым. Он изучал что-то такое инженерное в петербургском учебном заведении, но свободное время и сердечную привязанность отдавал полуразрешенной книготорговле, которая вдобавок его чутко подкармливала. Хорошая книга была тогда дефицитом, а стало быть, и предметом перепродажи на «черном рынке». Рынки эти возникали то в одной то в другой подворотне близ книжных магазинов на Невском. Торговля в подворотне была и азартной, и опасной, и выгодной. Можно было сорвать сотню навару, рискуя при этом угодить в лапы менту. Менты не были врагами культуры, но у них был невысокий оклад жалованья. Поэтому они бегали по подворотням: волка ноги кормят (это сейчас они стали такие ленивые и барственно беспредельные). Профессия «книжного жука» требовала минимальных знаний, которые при общении могли сойти за образованность и даже интеллигентность: «жуку» надо было знать, какие книги востребованы, какие существуют авторы, а может, даже знать, о чем они, эти книги. Моя первая жена приводила в нашу московскую квартиру своего «книжного жука», и он поразил меня не столько ценами (моего собственного «Швейцера», стоившего рубль, он предложил мне за четвертной), сколько настойчивым употреблением таких редкостных в ту простецкую пору слов, как «харизма» и «эзотерика» (заметьте, как эти буквы – з, х, р – словно бы отчуждают слова родного языка)...

Так вот, главный из моих издателей был в недавнем прошлом «книжный жук». Он помнил тысячу названий и любил книги лишь чуть меньше, чем деньги. У него были чувство юмора, приятное фрикативное «г» (чрезмерно раздражавшее в те годы лишь тех, кто часто слушал по радио выступления советских генсеков) и вообще немалое обаяние. Конечно, люди старого воспитания не могли понять, отчего он носит на горле толстую позолоченную цепь, но люди эти еще не поняли, что на смену тайно преступной цивилизации грядет откровенно блатная. Лично меня в большей степени, чем социальный, интриговал культурно-экономический аспект новоиздательской деятельности. Во-первых, то, что при всей скудости и убожестве созданного ими в перестроечную пору крошечного издательства они вчетвером ухитрялись выпускать больше книг, чем бывшие госиздательства с их штатом в полтысячи душ. Во-вторых, я пытался угадать, когда от небрежного недоплачивания он перейдет к полному грабежу. Конечно, я не сумел предугадать, за какие книги он мне не заплатит вовсе. За последние две или последние три.

Впрочем, к чему было ломать голову. Книги выходили. У меня на родине больше не было цензуры. Жизнь была скудной, но удивительной...

Компаньон моего питерского издателя, второй издатель, был фигурой еще более колоритной, чем первый. В те исторически недалекие годы, когда французские аспиранты-троцкисты еще ездили в Москву для изучения самой эффективной в мире экономической системы «самилъедка-питилъедка» («семилетку в четыре года»), в Москве уже стало очевидным, что вся эта тайная цифровая липа зашла в тупик и строить теперь будут вовсе даже не социализм, а непонятно что – так вот, в те годы симпатичный партнер моего первого издателя не только сроду еще не держал в руках «сигнальных экземпляров», но и с готовой книгой вряд ли когда имел дело. В те годы, опохмелившись через пять минут после открытия нищего сельмага, он мирно садился за штурвал могучего трактора и вывозил на поля навоз... Однако к девятидесятым годам в России все шумно зашевелилось, тракторист переехал в снова получивший свое первоначальное название город Петра и стал водителем троллейбуса: «Следующая остановка Дом Кшесинской. С балкона этого дома Владимир Ильич...» Господи, да отчего он не бросился тогда же с балкона, этот злой бормотун? Отчего погибают только приличные люди? Но это все мои, пассажирские, праздные мечтания. У водителя были, вероятно, свои, вполне уместные высокопрофессиональные мысли. Он должен был опасаться бледных питерских старушек, которые обреченно тащились через улицу, не обращая никакого внимания на мчащийся троллейбус. Он не мог не думать о необходимости приумножить свой месячный заработок, чтобы купить прописку в городе, купить комнатку в Питере, а может, и завести свой собственный, необщественный транспорт. В те годы россиянам разрешалось выбрать из былых, лихо противоречивших друг другу лозунгов брехливого Ильича один, вполне некровожадный, который пришелся им вдруг по душе: «Учитесь торговать». Те, что были еще начитанней, вспомнили и энергичную формулу Маркса: товар-деньги-товар. Все теперь торговали всем. И вот будущий мой второй издатель, оставив неповоротливый и малоодоходный троллейбус, ушел в торговлю. Корни его новой профессии нетрудно сыскать в послевоенном детстве, в мечтах о леденчике. Мне не раз доводилось видеть, как душевный какой-нибудь алкаш в пивнухе, отдав последние деньги за последний стакан водки, берет вместо сдачи леденец. «Деткам», – говорит он расстроганно и старается не упасть, не обронить, донести... Короче говоря, мой будущий издатель стал торговать конфетками. Знающий человек подсказал ему место, чтобы избежать скопления конкурентов: торговля леденцами дело несложное, желающих торговать много. Мой будущий издатель ходил со своей корзиной торговать в клубе Крупской. Именем Крупской и еще почему-то Клары Цеткин очень любили называть при старом режиме роддома (хотя обе дамы были бесплодными), а также фабрики и клубы. В питерском клубе Крупской обычно проходили книжные ярмарки. На них мой будущий издатель и торговал. Позднее, когда он уже торговал книгами, многие (по привычке или из зависти) все еще окликали его: «Эй, конфетчик!» Лично я в последний раз видел его не у Крупской, а в парижском ресторане на Бульварах. Он первый раз в жизни приехал в Париж, испробовал устриц и позвонил мне ближе к ночи с просьбой, чтоб я объяснил официанту по его мобильнику, что он хочет не их скудную порцию устриц (что там, дюжина – на один зуб), и даже не поднос устриц, а много-много подносов...

Да, великая была эпоха. Мои тогдашние питерские издатели часто прилетали тогда в Париж, а я прилетал из Парижа в Питер и, как уже было упомянуто выше, останавливался в коммунальной квартире на Петроградской, близ Петропавловской крепости. В этой прославленной Петропавловской крепости и прошло раннее детство Никола де Сталя, здесь он жил с родителями и сестрами, а в здешнем соборе Петра и Павла (в том самом, где почивают императоры) его крестили. Так что рассказ о рождении и детстве уроженца Петербурга художника Никола де Сталя начинать надо именно с Петропавловки, с которой, собственно, и сам Петербург начинался. Ну а то, что я несколько задержался в своем рассказе на делах книгоиздательства и книжной торговли, надеюсь, вы найдете тем более извинительным, что матушка нашего

героя Никола де Сталя происходила из семьи знаменитейших петербургских книготорговцев Глазуновых. И уж если искать, откуда у мальчика шло это увлечение искусством, книгами, музыкой, то уж наверняка нужно искать не в роду суровых воинов Шталей фон Гольштейнов, а в роду Глазуновых. К тому же дом петербургских Глазуновых на Невском сыграл кое-какую роль в том, что история наша не оборвалась досрочно и печально в еще одной луже детской крови. А крови в те годы было пролито море, и русскому автору забывать об этом не след...

Итак, начнем по порядку. Начнем с отчего дома нашего русско-бельгийско-французского художника Никола де Сталя, по рождению Николая Владимировича Шталя фон Гольштейна (Nicolas de Stael von Holstein). Дом этот (дом N 7) стоял близ Петропавловского собора на территории Петропавловской крепости, с которой можно при желании начинать всю историю императорского Петербурга. Решив «в Европу прорубить окно», Великий Петр, в соответствии с нравами того времени (есть ли надежда, что нравы когда-нибудь изменятся?), начал 16 мая 1703 года с сооружения куртин и бастионов новой крепости на самом маленьком из четырех островов Петербургской стороны. Таким образом, первыми прорублены были в сторону Европы никакие не окна, а бойницы и всякие там машикули. «Отсель грозить мы будем шведу», – так передает намеренья великого Петра великий Пушкин.

Могучий шестиугольник крепости занял весь островок, который местные жители-финны называли Заячьим (по-ихнему, по-фински Енисари), но понятное дело, подневольные строители крепости всех зайцев разогнали или съели. Сам Петр следил за ходом важного строительства. Вскоре за работу взялся архитектор Доменико Трезини и неутомимый инженер и полководец Миних (в похвалу ему напомним, что в свободное от работы время этот замечательный государственный деятель успел зачать восемнадцать детей). Наблюдали за трудами и ближайшие помощники Петра, чьи имена присвоены были бастионам (Меншиков, Головнин, Нарышкин, Трубецкой...) Потом крепость возглавил прославленный «птенец гнезда Петрова» Роман Брюс. Обер-комендант крепости был в те годы едва ли не главным военачальником в новой петровской столице. Впрочем, несмотря на все труды и жертвы, на двенадцатиметровую высоту бастионов и куртин, на их двадцатиметровую ширину и гранитную облицовку, знаменитой крепости не удалось покрыть себя неувядающей военной славой: просто никто не атаковал ее до самого 1917 года. Зато очень скоро обнаружилось, что великолепно охраняемая крепость может служить тюрьмой для всех врагов личной власти и порядка. Уже сам Петр держал там злодея – собственного сына. Позднее держали других, самых опасных врагов порядка и государства. Сидели здесь также принципиальные враги всех и всяческих государств – идеологи анархии, вроде Михаила Бакунина и князя Кропоткина. Сидел убийца и провокатор Сергей Нечаев: не просидел и полсрока, умер в Алексеевском равелине. Бакунин и Кропоткин были «революционеры», так что большевики, придя к власти, назвали их именами улицы, но все же отчасти от них отмежевывались: как же им самим было удержаться у власти без государства и диктатуры. Что же до злобного фанатика Нечаева, то его историю долго прятали под ковер: его ярый поклонник по кличке Ленин был похож на этого злодея до неприличия.

Сидели в крепости и другие террористы или опасные смутьяны. Это была надежная тюрьма: сбежать отсюда не удалось никому. Так вот она и маячила, крепость-тюрьма над темной невскою водой, напротив роскошных прибрежных дворцов. Понятно, что у всякого чувствительного петербуржца самый вид тюремной Петропавловки, ночные оклики ее часовых и даже звон курантов на колокольне вызывали зябкое чувство.

Все было тихо; лишь ночные  
Перекликались часовые...

Это Пушкин написал. Он же назвал Петропавловскую крепость «твердыней власти роковой». Нынче, два века спустя можно отметить, что даже провидец Пушкин, справедливо опа-

савшийся бессмысленного безобразия русского бунта, вряд ли мог вообразить, какому избиению подвергнет воспетый им город поистине роковая власть бесправия и насилия, называвшая себя «властью советов».

Впрочем, за два-то века сколько воды утекло в море. А ведь еще и в начале XX века русскому интеллигенту и прошлое России и тогдашняя «роковая власть» и ее «твердыня» казались величественно жуткими. Вот как вспоминал о своей ночной переправе через Неву художник Александр Бенуа:

«И вдруг в этом торжественном безмолвии, в прозрачных сонных сумерках, между едва потемневшим небом и странно светящейся водой, откуда-то сверху, мягко ложась на воду, начинают литься полые, «стеклянные», «загробные» звуки. Это заиграли куранты на шпиле крепости, это они возвещают в двух молитвенных напевах, что наступила полночь... играли куранты «Коль славен наш Господь» и сейчас же за тем «Боже, царя храни». Музыки этой хватало почти на весь переезд, так как темп был крайне замедленный, но различить, что именно слышишь, было трудно... Обе столь знакомые мелодии превращались в нечто новое, и это тем более, что и тона колоколов не обладали вполне отчетливой верностью, а благодаря эху звуки на своем пути догоняли друг друга, а то и сливались, образуя до слез печальные диссонансы.

Говорят, узников, заключенных в крепости, ежечасные эти переливы, длительное это капанье звуков в ночной тиши доводило до отчаяния, до безумия. Возможно, что и так. Куранты звучали, как плач, а то и как медленно читаемый и тем более неумолимый приговор. Этот приговор носил сверхъестественный и прямо-таки потусторонний характер».

Я не случайно привел такой длинный отрывок из замечательных мемуаров художника. Герой нашей книги, маленький Коля де Сталь, до трех лет жил под знаменитой этой колокольной, засыпал здесь, просыпался, завтракал, ужинал и гулял по крепостному садику, близ тюремных рavelинов, под звон старинных петровских курантов... Вспоминался ли, снился ли ему этот звон – в Брюсселе, в Марракеше, в Гренаде, в Жерардмере, в Ницце, в Париже, в Менербе, в Антибе?

Петр Великий гордился здешней колокольной, которая высотой своей должна была пре-взойти кремлевскую колокольню Ивана Великого в Москве. К 1720 году легкий золоченый шпиль колокольни уже возносился над новой столицей Петра, и неистовый строитель-император взбирался на самую ее верхушку, чтобы любоваться рекой и городом. А год спустя русский царь потащил за собой на колокольню, чтоб ею похвастать, именитого гостя, герцога Голштинского, и на радость любителям старинных текстов в свите герцога был писучий камер-юнкер, который про все написал – и про вид сверху, и про доставленные из Голландии большие часы, которые «играли сами собой каждые четверть и полчаса»:

«7 августа 1721 в 12 часов утра, все мы, целым обществом всходили на колокольню в крепости, чтобы послушать игру курантов, положенную в это время, и посмотреть на панораму Петербурга».

Если бы мы с вами оказались в этой высокой компании, мы могли бы польстить голштинскому гостю, предсказав, что последним монархическим комендантом этой свежеиспеченной крепости будет его соплеменник барон Шталь Голштинский. Однако, польстив столь успешно гостю, мы могли бы разгневать хозяина неосторожным предсказанием конца русской монархии, а с Петром Великим и Грозным, как до него с Иваном Грозным и Великим, шутки были плохи. Кстати оба вышеупомянутых государя именно оттого и прослыли великими, что не ставили человеческую жизнь ни в грош и сильно приуменьшили население нашей родины. Так что не будем предаваться столь небезопасным мечтаниям, а вернемся к нашему главному герою, будущей знаменитости, а пока еще просто мальчику Коле, любимцу папы-генерала, до трех лет не только с мамой или с няней, но и с папой не раз гулявшему по садику в крепости и наверняка, крепко держась за папину руку, хоть раз поднимавшемуся на знаменитую колокольню... Поднимался или нет, видел с высоты птичьего полета реку, дворцы и церковные купола, засне-



женный берег весенней реки и сверканье снегов – или ничего этого не видел, да и видеть не мог? Ведь совсем еще был кроха, о чем речь...

Автор обязан сообщить, что мнения знатоков здесь разошлись. Многие серьезные люди не берутся принимать в учет эти почти младенческие воспоминания. Но есть люди (и среди них не только какие-нибудь детские врачи, психологи или психоаналитики, вроде моего друга Пьера, но и некоторые солидные и даже знаменитые искусствоведы), которые говорят, что от впечатлений этого столь важного возраста никак нельзя отмахнуться: воспоминания эти живут у человека в памяти, сколько б ни удалялся он от них во времени и в пространстве. И говорят про это ученые люди не вообще (хотя и понаписано об этом немало), а именно в связи с детскими впечатлениями мальчика Коли, генеральского сына из Петропавловской крепости. Вот как пишет в своем очерке о Никола де Стале известный парижский искусствовед, знаток русского искусства и литературы Вероника Шильц:

«Тот факт, что он не упоминал (или упоминал очень редко) о своем детстве, еще не означает, что оно не запечатлелось у него глубоко в сознании, хотя бы безотчетно. Разве он не вздрагивал от выстрела пушки, палившей в крепости в полдень ежедневно? Разве не поднимался хоть раз на колокольню собора Петра и Павла? Разве не видел со стен Трубецкого бастиона, как заходящее солнце зажигает огнем окна Зимнего дворца?»

Особо подчеркивает русскость этого французского художника искусствовед Жан-Клод Маркаде в своей новой солидной монографии о Стале. Но тут уж о чем спорить: хоть и на глухом хуторе в Шампани будешь жить, наподобие автора этой книги, или в эмигрантской Северной Ницце – от родного города и от русских своих корней далеко не уйти...

И наверняка знает Вероника Шильц, что с воспоминаниями у Никола де Сталя были сложные отношения. Об этом мы еще будем говорить не раз, а вот о Петрограде, о Неве, о северном небе и северных морях (еще и восьмилетним жил маленький беженец Никола близ этих берегов) поговорить можно и сейчас.

Призрачный город, город-фантом Санкт-Петербург был построен неукротимым Петром Великим на костях многих сотен его рабов.

Но за три столетия город этот стал колыбелью русской культуры и вошел в сердца русских людей. Он воспет был поэтами, по его набережным, проспектам, мостам изнывали русские изгнанники, представители уникальной русской эмиграции XX века.

Они бредили воспоминаниями о нем в нищете изгнания, в бараках Освенцима...

О небо, небо, ты мне будешь сниться!  
Не может быть, чтоб ты совсем ослепло  
И день сгорел, как белая страница:  
Немного дыма и немного пепла!

С особой остротой чувствовали неотразимую красоту этого злосчастного города русские поэты XX века (и Блок, и Мандельштам, и Бродский, и еще многие). Недаром же каталог эрмитажной выставки полотен героя нашей книги Никола де Сталя (в 2003 году) открывали стихи:

В столице северной томится пыльный тополь,  
Запутался в листве прозрачный циферблат,  
И в темной зелени фрегат или акрополь  
Сияет издали, воде и небу брат.

... Не отрицает ли пространства превосходство  
Сей целомудренно построенный ковчег

... И вот разорваны трех измерений узы,  
И открываются всемирные моря!

Эти стихи были написаны за год до рождения Никола. А вот и еще:

Прозрачная весна над черною Невой  
Сломалась. Воск бессмертья тает...  
О если ты звезда, – Петрополь, город твой,  
Твой брат, Петрополь, умирает.

А это было написано в тот год, когда маленького Никола, его сестер и родителей прятала у себя на Невском в Петрограде бабушка. Но он еще мог видеть или чувствовать, как умирает родной город, «нахлобучив на самые брови низкое снежное небо». Мог видеть и черную воду Невы в снежных берегах, и низкое снежное небо... Позднее он гнал от себя страшные воспоминания, но они должны были раньше или позже прорваться в его живописи.

Видения этого призрачного и прекрасного города преследовали и тех, кто успел уйти в эмигрантскую скудость и тех, кто доходил на Колыме...

Так отчего до сих пор этот город довлеет  
Мыслям и чувствам моим по старинному праву?  
Он от пожаров еще и морозов наглеет,  
Самолюбивый, проклятый, пустой, моложавый.

Отчего же маленький Никола должен был стать изгнанником? Расскажу обо всем по порядку. Начну, как водится, с семьи, даже с семейного древа...

## Глава 4. К корням могучего дерева

До самой русской революции 1917 года обязанности коменданта Петропавловской крепости исполнял генерал-майор Владимир Иванович Сталь фон Хольштейн (или Шталь фон Гольштейн). По сравнению с древностью баронского рода Сталей фон Гольштейнов древность этой петербургской крепости может показаться столь же умеренно скромной, каким показался бы режим царской тюрьмы в сравнении с режимом прогрессивного пенитенциарного учреждения, носившего название ГУЛАГ. Род де Сталей возник лет за шестьсот до того, как Доменико Трезини начал свои труды по постройке Петропавловки.

Затеяв путешествие к корням генеалогического дерева де Сталей, мы могли бы для наглядности (и развлечения) прокатиться из Петербурга в недалекую Эстонию и доехать на поезде или на машине до старинного эстонского городка Раквере, что как раз на полпути от российской границы до эстонской столицы Таллина (былого Ревеля). Близ этого небольшого, но гордого райцентра (педучилище, крахмало-паточный завод и еще кое-что по мелочи) на протяжении многих веков маячили на холме Валлимяги романтические развалины замка Везенберг. Так называли здешнее городище датские летописцы, а русское его название звучало ближе к эстонскому – то Раковор, то Руковор. Милый для всякого чувствительного сердца, многократно запечатленный на полотне пейзаж этот с руинами замка, зелеными кущами и ветряными мельницами был еще и в начале XVI века свидетелем впечатляющего взлета баронского рода Сталь фон Гольштейнов к вершинам земной власти. Славный Везенберг был тогда столицей вполне обширной области, контролируемой Тевтонским (по временам его называли здесь Ливонским, а часто просто Немецким) военно-религиозным (рыцарским) орденом. Возглавлял орден великий магистр (хопт, командор или еще выше) Иоган Генрих Сталь фон Гольштейн: длинный белый плащ с большим крестом, латы, шлем, меч, копье – ну да, те самые рыцари, с которыми то сражались, то договаривались жители российского юга, против которых бились в союзе с татарами жители Новгорода. Те самые «псы-рыцари», которые предстали в столь устрашающем виде в знаменитом пропагандистском фильме Сергея Эйзенштейна. Впрочем, изучать родную историю по фильмам Эйзенштейна столь же безнадежно, как изучать немецкую философию по фильмам Ленни Рифеншталь.

Время это сокрыто от нас столь солидной стеной, что не одни только летописи или карамзинские их пересказы, но и самые жития приводят порой в оторопь. Вот собрался, к примеру, святой благоверенный князь Александр «с оправданием и с дарами» в Орду, а «уже готовый к отъезду... велел Димитрию идти на ливонских рыцарей. Сей юный князь взял приступом Дерпт, укрепленный тремя стенами, истребил жителей и возвратился обремененный добычею» (Карамзин т. IV). Вместе с ним в резне и грабеже участвовал и князь литовский Ровтвил, который «принял веру Христианскую... имел славу доброго князя...», но «с помощью ливонских рыцарей... утвердил оружием свою независимость от дяди...»

Идя вослед блистающим рыцарским доспехам де Сталей, мы можем углубиться и в более глубокую старину.

Монашеский орден госпитальеров (их называли также иоаннитами в честь Святого Иоанна Иерусалимского), у которого рано появились и военные ответвления, возник, подобно Ордену тамплиеров-храмовников, еще в XII веке на путях ко Гробу Господню. Создан он был с целью охраны паломников, размещения их, прокормления и лечения. С обретением богатства, силы и власти появились у этих могучих орденов менее возвышенные задачи и цели...

На его многовековом пути к Ракверу, Ревелю, Стокгольму и Петербургу были у ордена и падения и новые взлеты. Прославились в Ливонии и Швеции Руперт Сталь фон Гольштейн, а потом и Якоб Сталь фон Гольштейн, бывший маршалом Ливонии и губернатором Ревеля (XVII век). Упомянутый маршал служил шведской короне, но в XVIII веке военные услуги

Сталей фон Гольштейн сгодились и России: не только для того, чтоб «грозить шведу», но и для того, чтоб биться с турками и чтоб побеждать «разных прочих шведов», как выразился знаменитый поэт-интернационалист.

Баронское звание Сталей фон Гольштейнов было подтверждено в Швеции, а также внесено в дворянские матрикулы Лифляндской, Эстляндской и Воронежской губерний. В общем гербовнике Российской империи нетрудно отыскать баронский герб Сталей фон Гольштейнов. На нем разъяренные львы с высунутыми языками подпирают с двух сторон щит с восемью пашками. А над щитом, понятное дело, корона и еще что-то колючее, агрессивно-пупырчатое, малопривлекательное. Во всяком случае воинственное, и это понятно: за редкими исключениями Стали фон Гольштейны отличились лишь по военной части. Один из молодых шведских Сталей притерся, впрочем, благодаря удачному браку, к анналам французской литературы. Звали его Эрик Магнус, знатная родня пристроила его шведским посланником в Париже, где неустойчивость его материального положения вынудила его искать невесту побогаче. Поиски его увенчались успехом. Он женился на дочери богатейшего банкира и королевского министра финансов Неккера – на Жермене Неккер, которая стала писательницей, и еще в 1796 году написала знаменитую книгу о том, какую роль играют страсти в жизни отдельных лиц и целых народов. Позднее Наполеон выслал ее за пределы Франции, и она до самого падения узурпатора жила за границей (в том числе и в России, где романы мадам де Сталь пользовались неизменным успехом). Ближе, чем шведский Эрик Магнус Сталь, ни один из служивых Сталей к области искусств и литературы не подходил. Если, конечно, не считать полковника Александра Карловича Сталя, который (тоже не лично, а через супругу, точнее даже, через ее поклонника) проник в строку великого русского поэта Михаила Лермонтова. В начале 1838 года Лермонтов прибыл в Гродненский полк и встретил там товарища по юнкерскому училищу М.И. Цейдлера, которого вскоре им всей компанией пришлось провожать на Кавказ («под пули горцев»). Лермонтов написал по этому поводу стихи, посвященные Цейдлеру, где было отмечено, что его старый приятель, хоть еще и не воевал, но успел прославиться «иной, не бранной сталью». Каламбур этот был понятен всякому в полковом застолье. Известно было, что юный Цейдлер влюблен в жену дивизионного командира А.Сталя Софью Николаевну Сталь (рожденную Шатилову). Лермонтов обыграл в стихе то самое жестко-металлическое звучание немецкой фамилии, которое позднее, в железном XX веке привлекло тифлисского террориста при выборе новой подпольной клички. С этой кличкой и были позднее связаны самые кровавые преступления гостерроризма в истории нашей родины. Но Стали фон Гольштейны к ним, на счастье, были уже непричастны. Маркиз де Кюстин, описывая свое морское путешествие в Петербург, упоминает о героическом капитане судна, фамилия которого была де Сталь. Этот был уже из русских Сталей.

До самых высоких ступеней русской службы поднялись в семействе де Сталей дедушка нашего героя, его дядя и его отец. Дедушка, продолжая армейскую линию предков, отличился на русско-турецкой войне, а также при взятии Варшавы, был награжден высочайшими русскими орденами, дослужился до генерала, женился на дочери барона Унгерн-Штерна Маргарите Ульрике, перешел в православие и мирно умер в своей постели.

У военного героя Ивана Карловича было три дочери и два сына. Дочь Елизавета вышла замуж за господина Бобрикова, дочь Софья за господина Тройницкого, а дочь Александра осталась без мужа. Было у барона Сталя фон Гольштейна также два сына – Владимир и Алексей. Обо всем этом человеку любопытному (среди них и в наш равнодушный век попадают в Петербурге настоящие короли и бароны патриотического краеведения, например, врач скорой помощи мой друг Лев Барон) может поведать старинный справочник «Весь Петербург». К сожалению, перечисляя членов семьи, справочник умалчивает о том, кем они приходились друг другу.

Оба сына Ивана Карловича Сталь фон Гольштейна не нарушили старинной (можно даже сказать, многовековой) семейной традиции и пошли служить по военной линии. Младший, Алексей дослужился до звания генерал-майора и служил при дворе Великого князя Петра Николаевича, одного из сыновей великого князя Николая Николаевича Старшего. Великий князь Петр Николаевич был не таким заметным и шумным дылдой, как его знаменитый брат Николай Николаевич Младший, но все же имел свой двор. Управлял у него двором генерал Алексей де Сталь.

Впрочем, если сам болезненный и тихий Петр Николаевич никогда не занимался политикой, то этого нельзя было сказать о его супруге, дочери черногорского короля Милице, которая вместе со своей сестрой Анастасией, вторым браком вышедшей замуж за сестрина свояка, великого князя Николая Николаевича, причастна была ко многим дворцовым интригам, и они, бабские эти интриги, как теперь уже очевидно, не кончились для России добром. Понятно, что как и весь руководимый им малый, но все же великокняжеский двор, генерал Алексей де Сталь был некоторым образом приобщен и к тайнам большого, императорского двора, то есть был в довоенном кругу Сталей персоной влиятельной. Женился Алексей Иванович на дочери писателя Алексея Николаевича Плещеева Елене, упоминания о которой я случайно нашел в излюбленном своем прикроватном томе – в письмах Чехова. В конце 80-х годов у Чехова завязалась активная переписка с писателем и редактором А. Плещеевым по поводу еще не напечатанной повести «Степь», о которой Плещеев отозвался с восторгом. В первом письме Чехов упоминает и дочку Плещеева, ласково-снихождительно называя ее Леночкой. Впрочем, после визита Леночки к Чеховым в Москве шутник Чехов посерьезнел и стал упоминать в своих письмах эту молоденькую петербургскую даму как почтенную Елену Алексеевну: «Елена Алексеевна была у нас два раза; днем и вечером. Днем посидела 6 минут, а вечером 22 минуты. Обещала побывать и в третий раз, но обещания своего не исполнила. Я ей вполне сочувствую: у нас мертвецки скучно».

А вот еще в письме Чехова из Ялты год спустя в связи с важными ялтинскими новостями: «Мне один местный поэт говорил, что в Ялту приедет Елена Алексеевна. Посоветуйте ей не приезжать до винограда, т.е. раньше 15-20 августа».

Старший сын барона Ивана Карловича (а стало быть преемник баронского титула и вдобавок отец героя этой книги) Владимир рос вдалеке от родительского крова. Он окончил лицей в Ставрополе, учился в кавалерийской казачьей школе, прошел все ступени военной службы, участвовал в сражениях, служил в конногвардейском уланском полку, рано получил лейтенантское, а потом и капитанское звание, был ранен в бою. Двадцати девяти лет от роду он женился на дочери генерала Саханского Ольге, которая родила ему двух сыновей Ивана и Владимира. В 1908 году генерал Владимир де Сталь получил вполне престижный пост помощника коменданта Петропавловской крепости. Ни сама Петропавловская крепость ни ее коменданты больше не играли былой роли в жизни российской армии. Новый пост был заслуженной синекурой, наградой за долгую и безупречную службу. Уже подрос к тому времени старший сын генерала, да и младшему было двенадцать. Стройный молодцеватый генерал начал помаленьку вписываться в неторопливый ритм крепостной жизни, непреклонно отбиваемый мирным звоном старинных курантов, и вдруг подкралась беда. Заболела почтенная Ольга Георгиевна и в начале августа 1909 года пятидесятишестилетний вдовец уже склонялся над гробом супруги в Петропавловском соборе...

Он остался один, был растерян и одинок в своем особняке за крепостной стеной близ прославленного собора, в котором с петровского времени хоронили русских самодержцев. Ему было страшно оставаться одному, ужинать одному, коротать вечер в одиночестве, обидно, что все прошло так быстро и незаметно, теперь бы только жить да жить после всех армейских скитаний, невзгод, неудобств и опасностей. Обидно, что у него никогда больше не будет детей, вовсе не будет дочки... Впрочем, мы можем только гадать, приписывая ему свои собственные

мысли (именно так думал автор этих строк, заводя новую семью после пятидесяти). Суровый воин генерал де Сталь ни с кем не откровенничал. Да и вообще – кто возьмется объяснить, отчего вдруг приходит мужчине в голову эта вряд ли уж столь удачная мысль – искать себе жену, тем более, вторую жену, тем более, когда тебе уже за пятьдесят, и если даже усталость твоя незаметна постороннему, то умученное трудами тело нет-нет да напомним о старых ранах и возрасте. И все же, заметьте, она приходит к мужчине, пренебрегая его возрастом, эта безумная мысль – искать невесту, заводить новую жену, новых детей...

Москву называли издавна городом невест. Однако ни в царственно-столичном Петербурге, ни даже в захолустно-областном Ленинграде тоже никогда не было недостатка в невестах. В любых невестах, на любой вкус.

Генерал де Сталь вовсе не искал для себя (хоть мог бы найти без труда) юную красотку на выданье. Он предпочел бы умную интеллигентную, расставшуюся с девичьими фантазиями, созревшую для материнства здоровую женщину... Но и такие невесты водились в тогдашнем Петербурге. Для него такая нашлась прямо на Невском, можно уточнить, что на солнечной стороне Невского, близ Елисеевского гастронома, в доме Глазуновых. Звали ее Любовь Владимировна Бередникова. Бередниковой она была по отцу, в старинном роду Бередниковых было немало бравых воинов. А вот матушка Любви была из вполне знаменитой в Петербурге семьи книготорговцев и книгоиздателей Глазуновых. Еще в 1783 году купец из подмосковного Серпухова Матвей Петрович Глазунов с братьями своими Василием и Иваном открыл книжную лавку в Санкт-Петербурге, а младший брат Иван в скором времени завел и свое собственное торговое дело, открыл вдобавок издательство и типографию, поставлял книги самой княгине Дашковой, которая еще и без поддержки нынешних горластых феминисток стала в Петербурге президентом Академии Наук.

Дело Ивана Глазунова продолжили сын его Илья и внук Константин (о правнучке будем говорить особо), а с 1890 года до самого что ни на есть 1917 года и большевицкой национализации стоял во главе фирмы Илья Иванович Глазунов.

Лавки глазуновские были на Невском и на Садовой, а в жилом доме на Невском подрастали внуки – правнуки, а также прекрасные женщины – дочери, внучки... Одной из них и была Любушка, Любовь, барышня начитанная, образованная, немножко рисовала, на фортепьяно играла весьма недурно. Да что там: все барышни играли. Пока только вскользь заметим, что из этого клана вышел русский композитор Александр Глазунов, Константинов сын. К нему еще вернемся, а пока для нас из дома Глазуновых всех важней бабушка и матушка нашего героя, обе Бередниковы.

Жизнь у барышни Любви Бередниковой сложилось не слишком удачно. Сперва она против материнской воли (а ведь умница была матушка, урожденная Глазунова, как в воду глядела) вышла по большой любви замуж за господина Вельяшева Илью Васильича, а у него вскоре после женитьбы обнаружилось серьезное психическое расстройство. После всех невзгод вызвали его санитары и свезли в больницу. Никакая нормальная, тем более совместная жизнь была более невозможна, ну а процедура законного, церковного развода оказалась долгой и утомительной, длилась годами: убегали золотые годы. А все же и процедуре подошел конец... Молодая, красивая, решительная и независимая женщина (одной ведь из первых среди петербургских барышень села за руль автомобиля) снова была на выданье. Тут-то к ней и посватался высокий, стройный, мужественный генерал, из прибалтийских баронов, вдовец, герой многих сражений, украшенный орденами, улан – конногвардеец в молодости, а теперь человек достойный, серьезный, занимающий отдельный дом в стенах знаменитой петербургской крепости, где он был помощником коменданта. Был он ее лет на двадцать старше, но за такого и молоденькая девушка из хорошего дома пошла бы с радостью. Не нами замечено, что решительные молодые дамы и девушки родительский дом, за стенами которого мнятся им свобода и главенство, покидают с большой готовностью. Да так и Господь велел – отлепиться и прилепиться...



Любовь Владимировна хозяйкой вошла в отдельный дом близ прославленного собора, и была с любезностью принята сослуживцами мужа, в том числе и начальником крепости, почтенным комендантом Даниловым. Петербургские ведомости известили жителей столицы о счастливом событии:

«Сталь фон Гольштейн Владимир Иванович, генерал-майор, вице-комендант Петропавловской крепости, сочетается браком с Любовью Владимировной, урожденной госпожей Бередниковой. Петропавловская крепость, дом 7. Тел. 444-78».

Звоните! Поздравляйте! «Но все давно... – как сказал любимый поэт, – все давно переменились адреса...»

Года не прошло, как Любовь Владимировна подарила мужу первую дочь. Ее назвали Мариной. К штату генеральской прислуги в доме 7 прибавилась нянюшка Домна. Кто мог предугадать в том мирном 1912 году, какая роль уготована ей в этой семье (и в зарубежной искусствovedческой литературе, где ее на зарубежный манер называют «Домна Трифоноф»).

А на Рождество 1913 года (по новому стилю – 5 января 1914 года) Любовь де Сталь родила мужу сына, которого назвали Николаем в честь святого Николая Мирликийского. Крестили его в славном Петропавловском соборе, усыпальнице русских царей. По этому случаю собрались все Глазуновы, все Стали фон Гольштейны, все Бередниковы, вино лилось рекой.

Последнее, впрочем, наша догадка, а главное событие, крещение отражено в документе, который дошел до нас в целостности и сохранности через столетие крушений и бед, войн и пожаров, мрак гонений и насилия. Не в России, конечно, уцелел, где все жгли или корыстно засекречивали, а где-то там, у мирных французов или бельгийцев, которых уже скоро сто лет, как жареный петух ни в какие места не клевал. Вот он, этот старенький, никем не оспоренный, потому как не имел политического значения, нисколько не исторический, а все же имеющий к герою нашей книги отношение, вполне подлинный документ:

**«ВЫПИСЬ ИЗ МЕТРИЧЕСКОЙ КНИГИ, ЧАСТЬ ПЕРВАЯ  
О РОДИВШИХСЯ ЗА 1914 ГОД**

Счет родившихся. Мужеска пола. Женска пола.

Месяц и день. Рождения. 1913 года. Декабря двадцать третьего.

Крещения. Января двадцать шестого.

Имена родившихся. Николай в честь Святого Николая Мирликийского,  
Празднуемого Св. Церковью 9 Мая».

Ниже – круглая печать с силуэтом петропавловской колокольни и надписью «Петропавловский придворный собор».

«Звание, имя, отчество и фамилия родителей и какого вероисповедания. Помощник коменданта С.-Петербургской Крепостн Генерал-Лейтенант барон Владимир Иванович Сталь фон Гольштейн и законная жена его Любовь Владимировна Сталь фон Гольштейн. Оба второбрачные и православные.

Звание, имя отчество и фамилия восприемников.

Камер паж Высочайшего Двора барон Владимир Владимирович Сталь фон Гольштейн и надворный советник Константин Владимирович Бередников, дочь генерал-адъютанта баронесса Александра Ивановна Сталь фон Гольштейн и жена Гофмейстера Высочайшего Двора Людмила Ивановна Любимова.

Кто совершал таинство крещения. Ключарь, протоиерей Константин Велтистов с диаконом Петром Орловым и псаломщиком Владимиром Зверевым».

«Выпись» эта была выдана на руки Любви Бередниковой пять лет спустя после Колиного крещения, накануне бегства их семьи из города, уже потерявшего среди прочего и бывшее свое название, так что причт, выдавший документ, назывался «причтом Петроградского Петропавловского собора», а не собора «придворного», и не было больше к тому времени в живых

ни Колиного старшего брата, юного камер пажа Высочайшего Двора Владимира, ни Государя Императора, ни Государыни, ни их детей, ни какого бы то ни было Высочайшего двора...

Впрочем, помедлим, не заглядывая до срока в эту страшную даль. Пока все еще здесь, вокруг купели, в прохладе придворного собора, за пышным столом – весь блистательный Петербург. Даже сановный брат счастливого отца генерал Алексей фон Сталь, управляющий двором великого князя Петра Николаевича, удостоил своим посещением торжество, вместе со своей начитанной женой, писательской дочерью. Барон Алексей Иванович был человек близкий к императорским дядьям «Николаевичам», одному из которых предстояло в самое ближайшее время сделаться главнокомандующим русской армии. Супруги же дядьев «Николаевичей» были вовлечены во все интриги двора, так что, за праздничным столом у Сталей фон Гольштейнов, Бередниковых и Глазуновых можно было немало узнать в разговоре и полупешепоте волнующих подробностей об истериках императрицы Алики и выходах «старца» Распутина, который успел стать мифом на необъятных просторах России, о странных дипломатических казусах в Европе...

Как вы уже поняли, герою нашей книги довелось родиться в самом центре блистательного Петербурга, полумистического города, выросшего на финском болоте волею царя-гения, царя-убийцы и маньяка... Город этот сумел поднять до недостижимой (и до сих пор мало постижимой потомками) высоты русские культуру и искусство, создал индустрию, которая в начале века упрямо тянулась вслед за европейской и американской, зачастую обгоняя их по темпам роста. Мальчик Коля по рождению должен был попасть в окружение людей не только именитых и богатых, но и людей, блиставших талантами (в том числе и деловыми, и государственными). Несмотря на полувековое а то и большее опоздание в сравнении с европейскими столицами, в городе этом развивалась в ту пору парламентская демократия, складывалось гражданское общество, рождалась свободолюбивая и народолюбивая интеллигенция (самое-то русское это слово пустил в европейский оборот собеседник Чехова и Ковалевского писатель Боборыкин). В общем, «небо в алмазах» казалось не одной только героине Чехова близким и достижимым.

Однако судьба судила иначе...

Мальчик Коля из Петропавловской крепости, сын коменданта-барона и просвещенной молодой дамы из культурного дома Глазуновых, что на Невском, родился в тот роковой год, который гордая красавица-поэтесса из круга столичной богемы проницательно назвала «не календарным, а истинным» началом страшного XX века, века социальных катастроф, воздушных налетов, колючей проволоки лагерей, тоталитарного насилия и нескончаемых кровопролитий...

Впрочем, в те счастливые январские дни 1914 года, в той череде зимних праздников и нескончаемых столичных застолий только самые странные из гостей решались портить праздничное настроение собутыльникам, пророча грядущие, столь уже недалекие беды. Да и кто б решился? Разве что какой-нибудь из трагических гениев вроде Блока, искавшего прекрасную даму на панелях петербургских пригородов...

В том январе и в мирной Европе никто не ожидал и не боялся войны или революции. Когда в том самом январе бывший председатель совета министров граф Владимир Коковцев, вернувшись из поездки в Германию, предупредил императора о том, что война с Германией может обернуться катастрофой и для страны и для династии, смиренный (но и упрямый) русский венценосец отозвался вполне нетревожно и справедливо: «Все в воле Божьей». Что до тревожно-отчаянного меморандума министра внутренних дел Петра Дурново, то Государь и вовсе оставил его без внимания, а между тем, в документе этом содержались весьма здравое пророчество:

«В случае поражения, возможности которого с таким врагом, как Германия, нельзя исключить, социальная революция в ее наиболее крайней форме неизбежна...»

Ах, как мирно прошли зимние, весенние и даже отчасти летние месяцы. Всего полгода... В разгар лета того же самого 1914 года молодой сербский террорист-патриот Гаврила Принцип, завидев на улице Загреба австрийского эрцгерцога Фердинанда, выстрелил в него и смертельно ранил... Ну и что с того? Хрен с ним с эрцгерцогом и бешеным эрзац – гаврилой с его дурацкими принципами. В самой России терроризм лютовал уже почти полвека, Бог даст обойдется...

Но не обошлось. По вине нескольких тупых, алчных, ни на что не способных властителей Европа была ввергнута – еще на полвека – в адскую пропасть смертоубийства. Правительство России, захваченной началом войны в период ломки, строительства и подъема, повело себя далеко не лучшим образом. Узнав о выстреле в Сараеве, министр иностранных дел Сергей Сазонов (мирно упокоившийся позднее в свой срок в мирной Ницце) поспешно отдал приказ о всеобщей мобилизации, и Германии представился повод объявить войну России. Манифест русского императора невразумительно объяснил подданным причины самоубийственного этого решения:

«Австро-Венгрия предъявила Сербии заведомо неприемлемые для державного государства требования... Мы повелели привести Армию и Флот на военное положение... Ныне предстоит уже не заступаться только за несправедливо обиженную родственную нам страну, но и оградить честь, достоинство, целостность России и положение ее среди Великих Держав».

На нынешнем расстоянии любому лоху видна прохарево-портяночная глупость документа: «смочим сапоги в Индийском океане...»

Пожалуй, ни один шедевр казенной публицистики не был в ту вегетарьянскую эпоху оплачен такой высокой ценой. Каждое его слово обошлось в многие сотни тысяч украденных и искалеченных жизней...

Но кто думал, кто догадывался об этом в то лето 1914? Пока что большие люди озабочены были тем, что надо досрочно возвращаться из загородных резиденций. Боже, как хорошо было на даче...

Но предстояло срочно заняться подъемом патриотического духа, разжиганием ненависти к врагам и повальной ксенофобии. Ненависти к кровно близкому немецкому народу. Ненависти ко всем «ненашим» народам и любви к «нашим». Потребовались особые меры. Люди нелепые подсчитали, что в жилах последнего русского императора текло 98 % немецкой крови. Государыня-то и вовсе была чистейшая немка (как, впрочем, и все предшествующие российские императрицы, аж с петровских времен). Что уж говорить о петербургских придворных, правительственных и культурных кругах... Нынешний турист из России, никогда не слышавший о былой петербургской терпимости, будет немало удивлен, читая надмогильные надписи на знаменитом православном кладбище под Парижем...

И вот в 1914 нужно было (для резкого подъема национального духа) срочно доказать, что любой немец – это чудовище. Задача была нелегкая. Даже если бы всех финнов, чухонцев, греков, татар, поляков, французов объявили бы исконно русскими, все равно оставались бы опасные инородческие пятна на карте столицы. Решение тонкой проблемы было, конечно, доверено тайной полиции, но и правительство приняло свои меры: Петербург был срочно переименован в Петроград и, по мнению многих патриотов города, потерял лицо. Толпа (под высоким, но негласным руководством людей в штатском) била витрины немецких булочных и колбасных лавок. Конечно, до высот эренбургского интернационализма тогдашняя пропаганда никогда не падала: плакаты с призывом «Убей немца!» на стенах петроградских домов никто не развешивал, и все же...

Если прочитаешь военных лет дневники художника Александра Бенуа, убедишься, что для этого исконного петербуржца, мирно дожившего потом в эмиграции до девяноста лет, петербургский расистский погром 1914 года остался самым горестным впечатлением жизни, продолжавшим его терзать и тогда, когда «кличку, приклеенную к городу», большевики сме-

нили на новую, не менее оскорбительную (а бедняга Бенуа так надеялся, что большевики вернут его родному городу хотя бы обещанный «интернационализм»). По Бенуа, это была «измена Петербургу», и все последующие беды были ею вызваны.

Нетрудно догадаться, что и верноподданным Сталям фон Гольштейн не сладко было ловить кривые усмешки своих подданных. Как раз в ту пору ушел в отставку комендант Петропавловской крепости Данилов. Вышестоящее начальство приказало генералу де Сталю взять на себя комендантские обязанности, но без присвоения ему звания коменданта. Не хватало, чтоб в публичных документах появилось еще одно не исконно русское имя. Мало что ли неудач Первой армии под командованием генерала Рененкампа и прочих «чужаков»?

Впрочем, всей русской армией командовал до августа 1915 года один из дядьев императора, великий князь Николай Николаевич, брат Петра Николаевича, а позднее уж командовал и сам император.

Ушли на войну сводные братья маленького Коли, старшие сыновья Владимира Ивановича Сталя фон Гольштейна – Володя и Ваня. Ушли и не вернулись... Да что там неслучившиеся (и до сего дня не подсчитанные) российские трупы. Даже осторожные французы потеряли в ту войну полтора миллиона здоровых мужиков.

Конечно, в столичный Петроград война пришла не сразу... Люди с деньгами или со связями не отправляли своих детей на фронт. Верзилу Маяковского пристроили куда-то чертежником. Марка Шагала родственники жены усадили в Петрограде за работу, дававшую отсрочку от военной службы (он, впрочем, был на них в обиде, потому что работа была неинтересная)...

Петроград жил полной жизнью. Получили в годы войны бурное развитие разнообразные формы современного искусства. Впервые открылись кабаре артистов – сперва «Бродячая собака» (где блистали Анна Ахматова и Ольга Судейкина), позднее кабаре «Привал комедианта»... Вышли на сцену русские футуристы: собирались то в кабаре, то на квартире у Ивана Пуни. Новые течения в поэзии и живописи, новые поиски в философии и религии будоражили умы, русская поэзия достигла тогда новых высот в творчестве Ахматовой, Мандельштама, Гумилева...

Впрочем, будущий открыватель новых путей в искусстве, крошечный Коля Сталь фон Гольштейн пока еще мирно сосал мамину грудь и гулял с няней по садику в Петропавловской крепости. Летом Любовь Владимировна с детьми и прислугой отправлялась на дачу, на берег Финского залива. Там были главные дачные места петербуржцев. Просторные деревянные дачи-дворцы с садами и парками украшали берег залива. Грамотный французский биограф непременно щегольнул бы в этом месте рассказа знанием экзотического истинно-русского слова «изба», но русский читатель-горожанин, помнящий пригородную дачу своего детства или цветные стекла веранды из набоковских мемуаров, не купится на эту экзотику. Опустевшие крестьянские избы советские интеллигенты стали скупать под дачи много позднее, а тогда, «в старое доброе время»...

Тогда на тропинках какой-нибудь прибрежной финской Куоккалы можно было встретить немало петербургских дачников – скажем, молодого художника Жоржа Анненкова или семидесятилетнего Илью Репина, долгоязого журналиста Корнея Чуковского или юную балерину из Мариинки. В дачном поселке был даже свой любительский театр...

Конечно, ни Коля, ни старшая его сестренка Марина не созрели еще до выхода за ограду: им хватало прогулок с няньками по дачному парку – от дачи до пляжа. Что до их матери, Любови Владимировны, то она ждала третьего ребенка.

В конце апреля 1916 года она родила дочь, которую назвали Ольгой. Николенька в тот же год был заблаговременно записан в пажеский корпус...

Второй год войны подходил к концу. Государь с августа 1915 года принял на себя командование Армией. К тому времени под российское знамя было призвано уже девять миллионов подданных, но несмотря на новую практику ускоренного производства в офицеры отли-

чившихся рядовых солдат, в армии катастрофически не хватало офицеров и унтер-офицеров. Вообще в стране назрело то, что называют «кризисом власти». Удаление государя из Петербурга в армейскую Ставку только усугубляло этот кризис. Росло недовольство правительством в народе, а в кругах аристократии заметно было недовольство вмешательством императрицы в дела государства, а также подлинным или мифическим влиянием при дворе целителя «старца» Григория Распутина. Проявлением этого раскола в верхах было зверское убийство «старца» группой столичной золотой молодежи, включавшей великого князя Димитрия Павловича и князя Феликса Юсупова. Но конечно, еще одним терактом (на сей раз дворцовым) ни Россию ни монархию было уже не спасти. Страна шла вразнос. Продовольствия пока было много, но доставка его была организована плохо, и в январе в Петрограде начались уличные демонстрации. Столица созрела для революции, о чем предупредил императора председатель Думы Родзянко. Государь ответил своим обычным спокойным «Ну, Бог даст».

Русская революция назрела, но революционеры, как отмечают историки, тогда еще не созрели. Сам нетерпеливый Ленин в том же январе 1917 года заявил в Цюрихе: «Мы, старое поколение, не увидим будущей революции».

А к концу февраля в столице стали собираться толпы, требуя хлеба, солдаты стреляли по конной полиции, вечером 27 февраля несколько десятков тысяч рабочих пришли к Думе, и Временный комитет Думы заявил, что берет на себя установление порядка. Выяснилось, что продовольственное положение Петрограда вовсе не было столь катастрофическим, но царь, который так и не смог добраться в Петербург из Ставки, отрекся от престола. В России произошла революция. По нынешней терминологии почти «оранжевая» или почти «бархатная». Что значат 169 убитых в сравнении с десятками, с миллионами россиян, погибших позднее в результате Гражданской войны, борьбы Ленина за собственную власть и борьбы Сталина за удержание своей единоличной власти...

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.